Дмитрий Быков

Отпуск

Валентин Трубников, хотя, конечно, никакой не Трубников, вдыхал знакомый вагонный запах, не изменившийся за три года, мельком взглядывал в темное окно, привыкая к своему облику, и ждал Веру Мальцеву, которая опаздывала. Это тоже ничуть не изменилось, прежде ей от него доставалось, о чем он в последние три года горько сожалел,- но теперь, правду сказать, Трубников радовался, что она задерживается. Его била дрожь, а когда толстого сорокапятилетнего человека бьет дрожь, это всегда смешно и неприлично. Воистину душа – хозяйка тела; материалисты, конечно, дураки. Тело ничего не может само. Этот Трубников, несмотря на годы, был здоровый, крепкий мужчина – вероятно, рыбак, автолюбитель, турист, и полнота его была не болезненная, а сочная и крепкая, от вкусной и здоровой пищи, от экологически чистых огурчиков с собственного огорода, не всякая эта нитратная гнусь. Вера Мальцева, вероятно, отшатнется при виде этого человека, он будет ей невыносим, и при всей своей хваленой воспитанности она не сможет скрыть раздражения. Противно ехать куда-нибудь с довольным, глухим ко всему человеком: никогда так не чувствуешь одиночества, как рядом с храпящей, плотной тушей, никогда не сознаешь так ясно, до чего мы все никому не нужны с нашей неизбывной болью,- в такие минуты кажется, что и Бог тоже толстый и тоже спит. В России, как в поезде с противным попутчиком, совершенно не с кем поговорить. Так называемого Трубникова это очень угнетало в свое время: лежал он, положим, в больнице, дела его были плохи, а рядом выздоравливал примерно вот такой. Трубникову, в силу плачевного его положения, хотелось поговорить, ночами он мучался от боли и от неуклонно прибывающих подтверждений диагноза, в такие минуты один понимающий взгляд сделает больше, чем любая таблетка,- но сосед ничего понимать не хотел: он оберегал свое едва наметившееся выздоровление, опасался заразиться от тяжелого соседа, на все трубниковские истории отвечал: «Всяко бывает», а от прямых вопросов уходил, отворачиваясь и хмыкая. Так Трубников и не узнал про него ничего, но возненавидеть успел капитально.

Выписываясь, сосед тщательно собирал свои судки, забрал даже старые газеты – не желал ничего оставлять в обители скорби; так зэк, говорят, перед выходом на волю должен все забрать из камеры – чтобы не возвращаться, типа примета. Трудно, трудно будет Вере Мальцевой всю-то долгую зимнюю ночку ехать с таким попутчиком в Нижний Новгород, в командировку, где у нее вдобавок сложное дело. Адвокат она молодой, двадцать семь лет, а проблема там ух непростая – Трубников это дело знал, газеты читаем. Две девочки удавили больную соседку по ее личной просьбе, скажите, какое милосердие,- и ведь не подкопаешься, она нацарапала кое-как слабеющей птичьей лапой, изувеченной амиотрофным склерозом, положенное «никого не винить». Девочки, однако, после успешной эвтаназии обобрали квартиру удушенной, и это меняло дело; Мальцева в жизни не взялась бы защищать мерзавок (происходивших, кстати, из вполне состоятельных семей), кабы не временные денежные затруднения – да собственный специфический опыт по этой части, о котором ниже.

Трубников охотно избавил бы Веру Мальцеву от своего соседства. Но что поделать – у него это была единственная возможность легально провести с ней ночь, он специально подгадал отпуск под этот визит – в командировки она ездила редко. Еще, не дай Бог, опоздает – и тогда потерян год и прахом пойдут все приготовления: выслеживание на вокзале, покупка билета в то же купе… Но она не опоздала – и как ни ждал ее так называемый Трубников, а все равно Вера явилась неожиданно; так и на всех их первых свиданиях, когда он уже переставал надеяться, она вырывалась вдруг из толпы, словно ее нарочно задерживали, а тут она чудом вывернулась из цепких рук и мчится ему навстречу от незримого преследователя, и на лице всегда страх.

– Ты чего?

– Я боялась, что ты уйдешь.

– В следующий раз точно уйду. Полчаса, Вер! Совесть иметь надо, нет?

– Ну прости. Вот видишь, ты бы ушел. И мы бы никогда уже не встретились.

– А телефоны отменили?

– Нет, я точно знаю. Если бы ты ушел, то всё.

– Ты меня испытываешь, что ли?

– Боже упаси. Пробки, честное слово. Вся Ленинградка стоит.

– Пешком надо ходить,- говорил он назидательно, и они шли куда-нибудь пешком, поминутно останавливаясь: она висла на нем, лезла целоваться, вглядывалась, словно торопилась насмотреться. Как выяснилось, имел место ненаучный факт предвидения.

Она ворвалась в купе, задыхаясь, и действительно слегка отшатнулась, наткнувшись на его взгляд. Трубников поспешно опустил глаза.

– Здрасьте,- сказала она.

– Добрый вечер.

– Ой, я еле успела.

– Да,- сказал Трубников, не поднимая глаз.- Пробки.

Правду сказать, он чувствовал себя отвратительно. В прошлый раз даже решил, что в отпуск больше не поедет, но легко сказать. Особенно его огорчили бледность и худоба Веры Мальцевой: в ее годы женщине, пусть даже одинокой, положено быть цветущей. Вероятно, он даже одобрил бы ее замужество – впрочем, это тоже легко сказать, в теории мы все альтруисты. Трудно ей было одной, трудно.

Поезд тронулся. Трубников сидел нахохлившись и украдкой взглядывал на попутчицу: особых изменений не наблюдалось. Он сам не знал, что его так пленяло в ее лице,- слава Богу, почти никто из друзей не разделял этого восторга; приятно все-таки, что разным людям нравятся разные женщины, это как у растений цветение в разные сроки, которое он помнил из курса ботаники. Какое-то в ней было веселье, готовность к внезапному озорству – сейчас, конечно, поутихшая, загнанная внутрь. Раньше она вспыхивала от первой спички, от любой шутки,- вообще легко загоралась, страшно переплачивала людям, восхищалась посредственностями, о любом фильме, в котором померещилось что-то свое, рассказывала взахлеб, приписывая авторам то, чего у них и в мыслях не было; бесценная для адвоката способность искренне верить в чужую святость! Первое громкое дело было у нее как раз с шахидкой-неудачницей, которая передумала взрываться, когда увидела в витрине розовую кофточку и захотела такую же; у нее, вишь ты, никогда не было розовой кофточки. Присяжных это не тронуло, закатали голубушку на всю десятку, не такое было время, чтоб жалеть чурок, да еще и начиненных динамитом; Вера бегала во все газеты, рассказывала, какая удивительная девочка, как рисует, какие пишет стихи! Стихи были впечатляющие, нет спору: «Хочу раскрыть свою темницу и отпустить себя, как птицу». И кофточку ей купила – осуществляются мечты!

– Ну, давайте знакомиться,- решительно сказала Мальцева, словно нырнула в холодную воду (в воду всегда вбегала с визгом – никаких этих долгих, осторожных вхождений, и с ним когда-то так же быстро сошлась, не думая о последствиях).- Я Вера Мальцева, еду в командировку. Вы до Нижнего?

– До Нижнего,- буркнул Трубников.- К сестре.

– Вы оттуда сами? Я просто впервые там буду, не знаю ничего…

– Нет, это она туда уехала. Замуж вышла.

– А,- сказала Мальцева.- Ну и как, удачно?

– Что – удачно?

– Замуж удачно вышла?

Что-то с ней было не так. Непонятно было, с чего она задает противному толстому мужику посторонние вопросы. Или так оголодала, что на любого кидается?

– Удачно. У некоторых вообще бывает удачно… свободная вещь…

Ах ты черт, подумал Трубников. Этого говорить не следовало. Она сразу вскинулась.

– Как вы сказали?

– Я говорю, бывают удачные браки иногда.

– Нет, не то! Про свободную вещь!

– А что, выражение такое,- не очень искренне удивился Трубников.- Многие так говорят.

– Это да, это да… Свободная вещь… А я вот адвокат, представляете?

– Чего ж не представлять,- он пожал плечами. Она явно нервничала, отсюда и болтовня.

– У вас там в Нижнем слыхали, какая история? Две девочки женщину задушили.

– Читал что-то,- сказал Трубников.- Она их сама просила, по-моему.

Проводница забрала билеты и разнесла белье. Она была ласковая, доброжелательная, с дробным быстрым говорком,- у Трубникова при уже упомянутых тяжелых обстоятельствах была такая медсестра, и цену ее доброте он знал отлично. Никого она на самом деле не жалела, а ласковый говорок у нее был вроде защитной реакции, чтобы не вымогали настоящего сочувствия. Проводница спросила, не надо ли чаю.

– Обязательно! Два стакана!- попросила Вера Мальцева.

– Не много будет?- поинтересовался этот, тоже мне, Трубников.

– А я в поезде очень люблю,- сказала она с вызовом.- В детстве, бывало, в Крым еду – с мамой, с папой, они развелись потом,- и счастье уже, знаете, начинается с чая. Сахар такой был, с поездом нарисованным. Мне очень нравилось слово «рафинад», я думала, что особенное что-то, поездное. Мы дома с песком пили.

– А куда в Крым?- спросил он.

– Ой, мы много куда ездили. В Судак, в Севастополь. У папы в Феодосии друзья были.

Трубников вспомнил Феодосию, таинственного папиного друга, к которому лет восемь не обращались, а тут Верка взяла его адрес и, предупредив телеграммой, не ожидая ответа, отправилась с молодым человеком в гости. Молодой человек говорил, что ничего хорошего не выйдет, но она только смеялась в ответ – девятнадцать лет, что вы хотите. Никакого друга на месте, естественно, не оказалось, он вообще переехал два года назад в Самару, как сообщили соседи,- эти же соседи указали и дом, где можно было за дикие деньги получить крайне убогую комнату, хозяйка все время плакала, у нее за неделю до этого погиб муж, молодой человек усмотрел в этом дурное предзнаменование, а Верка не верила во всю эту ерунду. Почему-то в тот год было страшное количество абрикосов. Наверное, это тоже было предзнаменование. Маленькие, хрупкие пароходики ходили по морю в Коктебель. Уезжали утром, возвращались вечером, в синих сумерках. Верка рассказывала страшное – импровизировала вообще с необыкновенной легкостью. Ночи были жаркие, она лежала, откинув простыню, а он смотрел на это счастливое бесстыдство – лежит, как Вирсавия, рубенсовская женщина, а на что смотреть-то, кожа и кости, птичьи ребрышки, подростковые тонкие ноги… Но что-то было, что-то необъяснимое, никогда и ни к кому так не тянуло.

Трубников сидел и думал: надо выйти, ведь она хочет лечь. Но он не представлял себе, как войдет и что будет делать, когда она переоденется. Все, что она говорила, он пропускал мимо ушей.

– Вы не слушаете?

– А? Нет, я слушаю.

– Нет, вы не слушаете. У вас болит что-то, да?

– Ничего не болит.

– Но вам не до меня, по-моему.

– Нет, Вера, говорите. Что вы. Очень интересно.

– Я говорю: а как они там отнесутся, в городе? Как вы думаете?

– Ну, откуда же я знаю. Я сам там не живу, только сестра. Но я думаю, город будет против, конечно.

– Почему?

– Видите ли… во-первых, мотив сострадания там исключен.- Он заговорил с привычной лекторской интонацией и сам себя одернул: не сочетается с нашей внешностью и повадкой рыбака, толстяка, туриста, станового хребта страны.- Они же обчистили квартиру, так? Потом: даже доктора этого, Караян или как его там…

– Кеворкян. Доктор Смерть.

– Ну да, Кеворкян… его же тоже приговорили, в Европе, в разгар политкорректности. Насколько я слышал, только в Голландии эвтаназия разрешена… и в Израиле, что ли…

– В Швейцарии,- сказала она.- В Англии…

– Ну, может быть. Я не занимался.

– А чем вы вообще занимаетесь?

– Я врач,- сказал он.

– Видите, как замечательно.- Она сидела, положив ногу на ногу, упершись подбородком в ладонь,- поза несколько искусственного, детского, умиленного внимания.- Но сами-то вы как относитесь?

– К чему?

– К эвтаназии.

– Резко отрицательно,- сказал Трубников.- Резко.

– Почему, можете сказать?

– Я думаю,- выговорил он не очень уверенно и на всякий случай опустил глаза,- я думаю, всё лучше, чем смерть.

– Ну, об этом вы, мне кажется, представления иметь не можете.

– А вы можете?

– Я могу,- сказала она твердо.- Бывают вещи значительно хуже смерти. Значительно.

– Это всё гуманитарные прибамбасы,- отмахнулся Трубников.- Тыр-пыр, восемь дыр. А я рассуждаю как врач – и для меня живой пациент всегда лучше мертвого. Даже если я ничего не мог сделать – все равно.

– Как вы сказали?- снова насторожилась она.

– Я говорю, если даже я ничего не мог сделать…

– Да нет!- она отмахнулась.- Вот сейчас, только что, про тыр-пыр…

Черт возьми, подумал Трубников, до чего приставучи все эти идиомы, словечки-паразиты, по которым нас можно будет узнать и после конца времен! Собственно, моя речь из них и состоит. Частицы и междометия. А что еще может сказать человек, имея мой опыт? Нет человеческих слов для такого опыта, при встречах только по глазам друг друга и узнаём… Иногда в городе встречаю наших – сразу раскусываю; подошел бы, поздоровался, но этикет, сами понимаете, этикет… Может сойти, а могут лишить отпуска, и хорош я буду.

– Про тыр-пыр,- терпеливо пояснил он,- это такая пословица. Основана на том, что у человека восемь дыр. Ну, не у всякого, у женского человека…

– Вы что, и уши считаете?- в ужасе спросила она.

– Это не я, это народ. А вы что же, за эвтаназию?

– Да,- сказала она решительно.- То есть я могу понять человека, который этого требует. И больше вам скажу – лично для себя я хотела бы эвтаназии.

– Но вы ничем не больны,- сразу насторожившись, сказал так называемый Трубников.

– Нет, я имею в виду – на случай чего-нибудь неизлечимого,- сказала она.- И потом, честно вам скажу, если бы меня сейчас кто-нибудь убил… черт знает, зачем я к вам со всем этим… ну, я не обрадовалась бы, конечно, но и сопротивляться бы особо не стала.

– Это у вас профессия такая,- мягко сказал Трубников.- Слишком много видите жестокости, ну и… Адвокат вообще, мне кажется, не женская работа. Всё лучше смерти, Вера. Честное слово.

Они еще поговорили минут сорок – странно, она не спешила переодеваться и укладываться, хотя он несколько раз порывался выйти из купе.

– Подождите, останьтесь.

– Но мы уже через шесть часов приедем…

– Ничего, я мало сплю. А вот скажите, пожалуйста…

– Что?

– Нет, ничего. Так вырвалось. Я у вас хочу ужасную глупость спросить.

– Спрашивайте,- пожал плечами так называемый Трубников, а сам насторожился.

– Нет, не буду. Ерунда, нервы надо лечить. Правильно я говорю? Надо мне лечить нервы?

– По первому знакомству не скажешь,- сказал Трубников и прокололся уже непоправимо: – все люди хорошие, когда спят зубами к стенке…

Она даже вскочила.

– Как вы сказали?

– Это выражение,- опустил он глаза.- Что вы, простых вещей не знаете?

– Ничего я не знаю,- сказала она,- ничего… Ну ладно, выйдите, я переоденусь.

Ночью, само собой, он не спал: стоило ехать в отпуск, чтобы спать! Как говорится, там отоспимся… И она тоже ворочалась, садилась на полке, долго, с мучительным любопытством смотрела на него – он физически чувствовал ее взгляд, всегда ощущал его, мог с закрытыми глазами сказать, в какой позе она сидит рядом. Никогда, ни с кем не бывало такой полноты понимания, а без нее все словно выключалось. Однажды, в самом начале, он на что-то обиделся и неделю с ней не разговаривал, запретил себе звонить, отвечать на звонки, думать… Все так о ней напоминало, что вычеркивать вместе с ней пришлось половину знаний, умений и привычек – это после полугода знакомства! Каково же ей теперь было без него, в каком узком мире она, должно быть, очутилась – ведь, запретив себе воспоминания, чтобы уж вовсе не рехнуться от боли, она обречена была лишиться всего прошлого, кроме школьного, всех мыслей, кроме простейших… Господи, спасибо за это жалкое послабление, за отпуска, да и то не навсегда, а пока кто-то тут помнит,- но это ведь, если вдуматься, дополнительная пытка. Нет, нет, с этой безжалостной волей я никогда не смирюсь – даже теперь, когда отлично знаю, что мы преувеличиваем Господне всемогущество, что многое зависит не только от него, что есть вещи – неизлечимые болезни, например,- которые посылаются совсем другими силами, и нет кого-то одного, кто отвечал бы за все. Иначе, конечно, этому одному нельзя было бы простить ни тех последних недель, когда он действительно мечтал об эвтаназии, ни тех первых дней, когда она осталась одна, а он продолжал все понимать и видеть.

Он лежал в темноте, закрыв глаза, никак не умея освоиться в неловком, тучном теле, внаглую захваченном в Москве на сутки,- и чувствовал, как худая светло-русая женщина рядом все крепче закусывает губу; такую вещь в темноте не разглядишь, но чувство, чувство куда денешь? Оно и в теле нелепого Трубникова не оставляло его. Дурацкая какая фамилия – Трубников. Впрочем, и Мальцев – тоже так себе.

– Если вы что-то знаете и молчите,- сказала она вдруг еле слышным шепотом,- это такая вещь, которая хуже убийства. Понимаете? Я сразу, как вошла, поняла, что вы что-то знаете. И эти словечки, и вообще. Ничего общего, конечно, но ведь не обманешь. Я почти уверена. Вы наверняка, наверняка знаете. Я вас очень прошу. Я вас у-мо-ля-ю.- Он отлично знал эту детскую манеру скандировать по слогам.- Я никому не скажу. Но бывает же, да? Если вам нельзя, то вы можете хотя бы намек какой-то… хотя бы привет, да?

Привет он однажды передавал, было дело. Был отпуск у Серегина, несчастного, сутулого мужика, которого помнил сын. Сыну не было до Серегина никакого дела, он помнил его, так сказать, пассивно, безэмоционально. И так называемый Трубников тогда сказал: чего тебе парня смущать, ты лучше зайди, пожалуйста, на улицу Юннатов, дом такой-то, отнеси букет. Положи у двери в квартиру тридцать два. Серегин отнес, но любопытство пересилило – он позвонил в дверь, стал говорить какие-то глупости, что-то про благодарного анонимного клиента… Очень хотел посмотреть, из-за кого так называемый Трубников так убивается. Посмотрел – ничего особенного, ни кожи, ни рожи; а Верку потом три дня успокаивали, ревела безостановочно…

– Вера,- спокойно сказал Трубников,- чего вы не спите, а?

Он физически ощутил волну невыносимой тоски, наплывающей с соседней полки. Он только что зубами не скрипел. Сказать было нельзя ничего, ни слова – мало того, что отпуска бы лишили, вообще сделали бы такое, по сравнению с чем и последние его тутошние недели показались бы раем. Там есть такие изощренные способы, которые здесь и в голову не придут.

– Да, простите,- быстро сказала Вера.- Да уже и приехали почти.

– Чего-то я бормотала ночью во сне, да?- спросила она холодным, розовым, снежным новгородским утром, когда поезд подкатывал к вокзалу.

– Не помню,- сказал так называемый Трубников.- Я, знаете, сам иногда во сне… Даже до крика доходит, если кошмар.

– Нет, мне кошмары не снятся. Мне сплошная радость снится. А проснешься – и тогда кошмар.

– Ничего, Вера,- сказал Трубников.- Всё лучше смерти, помните об этом, ладно?

– Удачи,- сказала она.

Трубников некоторое время смотрел ей вслед. Надо было, однако, торопиться. Он быстро пошел в зал ожидания и уселся на скамейку. «Шике-шике-швайне»,- пела Глюкоза. Шике-шике швайне сидели вокруг, позевывали, читали газеты. В эту секунду так называемый Трубников любил их невыносимо, потому что пребывать среди них ему оставалось не более минуты, а расставание предстояло не менее чем на год. Он закрыл глаза и с искренним сожалением покинул неприятное тело Трубникова.

Валентин Трубников, придя в себя, долго еще сидел на скамье в зале ожидания, пытаясь понять, как это его, приличного человека, начальника планового отдела, отца двоих детей, занесло в Нижний Новгород холодным январским утром. Бывают такие удивительные провалы в памяти, вроде и не пил ничего. Он не очень хорошо помнил, что с ним было в последние сутки, с тех самых пор, как чужая убедительная воля порекомендовала ему ненадолго заткнуться и принялась бесцеремонно распоряжаться его телом, паспортом и бумажником. Кстати, бумажник. Он заглянул туда и обнаружил обратный билет на дневной поезд. Быстро позвонить жене. Странные, необъяснимые случаи, наверняка отравление или цыганка. А иногда, читал он, вообще находят со стертой памятью, одинокого, потерянного, тоже где-нибудь на вокзале: как он попал в какой-нибудь Комсомольск-на-Амуре, совершенно не помнит. Определенно повезло.

Конечно, повезло, думал Мальцев, удаляясь от Трубникова. Это, знаешь, как в анекдоте про поручика Ржевского – «Некоторые так на березе и оставляют». А тебе, дураку, попался еще вполне цивилизованный отпускник.